

ФЕДОР АБРАМОВ  
**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ**

*Рассказ  
(фрагмент)*

**Глава 1**

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошком еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках накидал досок возле крыльца – чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала его жена – Евгения. Она все перемыла, перескоблила – в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука – маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом, она на рев каждого мотора выбегает; потом, как колокол, загрело и заухало знакомое мне железное кольцо – это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома; потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О-о! Кто к нам приехал-то!..»; потом еще, еще голоса – бабы Мары, старика Степана, Прохора. Похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина – без этих уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке и кругом леса – глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи – не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло: редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие – хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженой семь в длину – на нее, бывало, заезжали на паре, да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест – это было мне ясно. И на моих музейных занятиях – так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, – тоже придется поставить крест. Разве смогу я теперь втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяной туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того, чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь! Не смей! Старуха в доме.

...

## Глава 5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

– Урвай! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина этого, конечно, была иная – та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, по-старинному развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами – чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома – большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме – каждый. Идешь по подоконью травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней парят над тобой в высоте.

– А раньше их поболее у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, – заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяный пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

– Куда, бабушка? Не опять в лес? – любопытствовал я.

– Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, – по-старинному выразилась Милентьевна.

– А пестерь зачем?

– А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Скотницы коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор, – она собиралась на работу, – тут не выдержала:

– Сказывай – намало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля – весь день лежала. А чего? Неуж человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза: а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшной, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь костями, так это Прохор – один из двух мужиков, оставшихся в Пижме (не считая, конечно, деда Степана).

Прохор, по обыкновению, был под мухой – от него так и разлило дешевым одеколоном.

– Тета, тета! – закричал он, подъезжая. – Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю – тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по лугу, туда, к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было – она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами – у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо – когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первую очередь (я сперва хотел спать на сеновале), и помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было.

Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна – домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашенные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточка и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

– Надо бы выбросить все это имущество, – сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, – ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается: мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заходил на поветь. И не потому, что все это было для меня внове – я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот чего не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета – такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная? Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул – и старый, заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, – все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Деревянные кони : рассказ // Новый мир.— 1970.— № 2.— С. 73-90.